**"Бедные люди" Достоевского: дебют писателя**

Тарасов Ф. Б.

"Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил..." Так писал о себе Достоевский в 1877 году, будучи уже зрелым мастером, создавшим почти все те произведения, которые принесли ему впоследствии всемирное признание. Он мысленно возвращался к торжественному мгновению, когда "произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, - из того, что остается навсегда в сердце участвовавших" - когда восторженные отклики первых читателей его первого творения - романа "Бедные люди", - тогда еще молодых литераторов Д. В. Григоровича и Н. А. Некрасова и уже известного критика В. Г. Белинского пробудили в нем сознание "перелома навеки" и начала чего-то совершенно нового. Это было рождение писателя. Правда, к тому времени Достоев-ский имел за плечами не одну литературную "пробу". С самого детства весь семейный уклад сформировал в нем наклонности, определившие его дальнейшую судьбу.

Будущий писатель, равно как и его братья Михаил и Андрей, получил прекрасное домашнее воспитание и образование. В 1873 году Достоевский вспоминал: "Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня" (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972-1990. Т. 25. С. 28-31. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием в скобках номера тома и страницы. (21; 134).

Благочестие семейства Достоевских сочеталось с удивительным богатством и разнообразием литературных интересов, в полноте воспринятых детьми от родителей. С десятилетнего возраста началось страстное увлечение Достоевского Шиллером. Пушкина братья Михаил и Федор знали наизусть. Круг их домашнего чтения включал Державина, Жуковского, Карамзина, Вальтера Скотта, романы Нарежного и Вельтмана, сказки Луганского. Начитанность мальчика Достоевского огромна. В 1833 году братья Достоевские поступили в пансион француза Сушара, а через год перешли в привилегированный пансион Л. И. Чермака, где преподавали лучшие профессора Москвы. По воспоминаниям Д. Григоровича, все выпускники пансиона Чермака отличались "замечательною литературною подготовкой и начитанностью". (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 47).

В мае 1837 года по дороге из Москвы в Петербург, куда шестнадцатилетний Федор с братом Михаилом ехали по решению отца для поступления в Главное инженерное училище, одно из лучших учебных заведений России, оба они мечтали "только о поэзии и поэтах". "Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, - рассказывал Достоевский в "Дневнике писателя" за 1876 год, - а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух" (22; 27-28).

Оказавшись в военно-учебном заведении, юноша Достоевский по-прежнему жил в мире литературы, поэзии - под аккомпанемент барабана и маршировки, математики и лагерных учений. Гомер, Шекспир, Гофман, Гете, Шиллер, Корнель и Расин, Гюго и Бальзак - эти великие имена сменяли друг друга в кипучем и восторженном юном воображении, пытавшемся в туманном воздухе мистического романтизма нащупать границы христианского искусства. Достоевский работал и над собственными драматическими сочинениями - "Мария Стюарт" и "Борис Годунов", рукописи которых не сохранились. Кроме того, известно название еще одной юношеской драмы писателя - "Жид Янкель", также не сохранившейся.

Несмотря на разбросанность, хаотичность литературных увлечений Достоевского, постепенно в них намечалась главная тема всего его будущего творчества: тайна человека. Уже в 1838 году, в 17 лет, Достоевский писал брату о поражавшей его двойственности человеческой природы, скрывавшей загадку зла и грехопадения: "Атмосфера души человека состоит из слияния неба и земли; какое же противозаконное дитя человек; закон душевной природы человека нарушен. Мне кажется, что мир наш - чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира..." (28, кн. 1; 50). А через год он говорил о своем призвании: "Человек есть тайна. Ее надо разгадать, ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком" (28, кн. 1; 63).

В конце 1843 года, в рождественские праздники, Достоевский перевел роман Бальзака "Евгения Гранде", напечатанный летом 1844 года в журнале "Репертуар и Пантеон". Это была первая публикация Достоевского. Он входил в литературу под знаменем того, в ком видел тогда завершение всего христианского искусства. Работа над переводом помогла ему встать на свой писательский путь.

В октябре 1844 года совершилось то, о чем "снилось и грезилось" молодому Достоевскому: не прослужив даже года по полученной в инженерном училище специальности, он вышел в отставку и превратился из инженерного подпоручика в профессионального литератора. А двумя неделями раньше он сообщал брату: "У меня есть надежда. Я кончаю роман в объеме "Eugenie Grandet". Роман довольно оригинальный..." (28, кн. 1; 100). Речь шла о романе "Бедные люди". Безусловно, замысел Достоевского складывался под впечатлением бальзаковского повествования о несчастной девушке. И все же в первую очередь он знаменовал собою закономерный этап внутреннего развития писателя, обусловленный самой логикой этого развития. Она раскрыта Достоевским в его полупублицистических, полуфельетонных "Петербургских сновидениях в стихах и прозе", написанных уже после каторги.

В "Петербургских сновидениях в стихах и прозе" рассказывается о некоем таинственном ощущении - видении на Неве: "Был я тогда еще очень молод. Подойдя к Неве, я остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки... Ночь ложилась над городом... Становился мороз в 20 градусов... Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его... в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как бы облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но еще не осмысленно; как будто прозрел во что-то новое, совершенно новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. Я полагаю, что в эти именно минуты началось мое существование..." (19; 69).

Прозревая в невидимую и неведомую доселе глубину человеческого бытия, по-новому освещающую его привычные каждодневные проявления, и желая художественными средствами сделать эту глубину осязаемой, Достоевский работал над "Бедными людьми" так, как, может, не работал ни над каким другим своим произведением. Д. Григорович, живший в то время с ним на одной квартире, вспоминал, что Достоевский "просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом" и на вопросы, что он пишет, отвечал "неохотно и лаконически". (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 47). Мучимый жаждой совершенства, писатель подвергал роман неоднократной переработке. "Кончил я его совершенно, - сообщал Достоевский брату, - чуть ли еще не в ноябре месяце, но в декабре вздумал его весь переделать; переделал и переписал, но в феврале начал опять снова обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я был готов и доволен" (28, кн. 1; 106). Однако вскоре вновь последовали исправления, и лишь к маю 1845 года работа над романом была завершена. 4 мая Достоевский признавался в письме брату: "Этот мой роман, от которого я никак не могу отвязаться, задал мне такой работы, что если бы знал, так не начинал бы совсем. Я вздумал его еще раз переправлять, и, ей-Богу, к лучшему; он чуть ли не вдвое выиграл. Но уж теперь он кончен, и эта переправка была последняя. Я слово дал до него не дотрагиваться. Участь первых произведений всегда такова, их переправляешь до бесконечности" (28, кн. 1; 108).

Многочисленные обработки и переделки свидетельствуют об интенсивном поиске Достоевским способов выражения происходивших в глубине его сознания и порождавших новое мироощущение изменений.

В уже цитированных "Петербургских сновидениях в стихах и прозе" Достоевский поведал, как "прежде в юношеской фантазии" он "любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Гляденингом из романа "Монастырь" Вальтер Скотта, и проч., и проч...": "Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники, я... я... служил примерно, но только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елизавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, тут же за ширмами..." Но если в "Амальины времена" он жил "чуть не полгода с чиновником, ее женихом, носившим шинель с воротником из кошки, которую можно было принять за куницу, и не хотел даже и думать об этой кунице", то "вдруг, оставшись один", он "об этом задумался": "И стал я разглядывать и вдруг увидел какие-то странные лица. Все это были странные, чудные фигуры, вполне прозаические, вовсе не Дон Карлосы и Позы, а вполне титулярные советники. Кто-то гримасничал передо мною, спрятавшись за всю эту фантастическую толпу, и передергивал какие-то нитки, пружинки, и куколки эти двигались, а он хохотал и все хохотал! И замерещилась мне тогда другая история, в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, нравственное и преданное начальству, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная, и глубоко разорвала мне сердце вся их история..." (19; 70-71).

Мечтателю-Достоевскому, романтически устремлявшемуся от действительности к таинственно-фантастическому, открылась "фантастичность" самой действительности, о которой он впоследствии скажет: "Никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по-наглядке, а концы и начала - это все еще пока для человечества фантастическое" (23; 145); и в другом месте: "...то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного...". (Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973. С. 47) В русской литературе появилась история жалкого петербургского чиновника Макара Девушкина.

Понимая, насколько его судьба зависела от успеха романа, Достоевский писал брату страшные слова: "Если мое дело не удастся, я, может быть, повешусь" (28, кн.1; 108); "...я по целым ночам не сплю от мучительных мыслей. Не пристрою романа, так, может быть, и в Неву. Что же делать? Я уж думал обо всем. Я не переживу смерти моей idee fixe" (28, кн.1; 110). С первых же шагов писательский путь Достоевского был крестным, ставившим вопрос жизни и смерти.

Через Д. В. Григоровича, незадолго до того опубликовавшего свой первый очерк "Петербургские шарманщики" в альманахе Н. А. Некрасова "Физиология Петербурга" (1844) - сборнике-манифесте писателей "натуральной школы", рукопись "Бедных людей" была отдана Некрасову, задумавшему новый альманах. Как впоследствии вспоминал Достоевский, Григорович и Некрасов прочли вслух, не отрываясь, весь роман, и в четыре часа ночи прибежали к автору "в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут". Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день... "Новый Гоголь явился!" - закричал Некрасов, входя к нему с "Бедными людьми". - "У вас Гоголи-то как грибы растут", - строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его "просто в волнении": "Приведите, приведите его скорее!" (25; 30).

Еще до встречи с Достоевским критик отозвался П. В. Анненкову о "Бедных людях", что роман "открывает такие тайны жизни и характеров на Руси, которые до него и не снились никому..." (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 272). Горячие похвалы Белинского автору "Бедных людей" вторят этому отзыву: "Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали... Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем..."(25; 30-31).

Услышанное молодым писателем пробудило в нем то удивительное чувство, которое и запомнилось ему как самая восхитительная минута всей жизни: "Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель)... Я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее..." (25; 31).

Такой триумф дебютанта был незаурядным событием в истории русской литературы. В письме к брату Достоевский рассказывал ему о своем успехе: "...никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимоверное, любопытство насчет меня страшное" (28, кн.1; 115). Романом "Бедные люди" открывался "Петербургский сборник", второй альманах "натуральной школы", вышедший в январе 1846 года. Он включал в себя произведения Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, А. И. Герцена, В. А. Соллогуба, И. И. Панаева, В. Г. Белинского и др. Сборник вышел в период расцвета "натуральной школы", и писательский путь Достоевского пересекся с ней как раз в этот кульминационный момент.

Однако "восхитительная минута" была коротка. Триумф вскоре сменился травлей. И, в конце концов, Белинский "посетовал" в письме П. В. Анненкову: "Надулись же мы, друг мой, с Достоевским-гением". (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1976-1982. Т. 9. С. 713) Неизбежность столь кардинальной перемены крылась в принципиальном различии установок Достоевского и вдохновляемого Белинским литературного направления, различии, все более обнаруживавшемся и углублявшемся с каждым новым произведением Достоевского.

Правда, о которой говорил Белинский пришедшему к нему впервые автору "Бедных людей", воспринималась группировавшимися вокруг критика литераторами именно в духе "натуральной школы" и "гоголевской традиции". Имелось в виду сочувственное изображение бедного чиновника, "маленького" человека, париев общества "на чердаках и в подвалах", на фоне "физиологической" повседневности столичного города. Не случайно Белинский, рекомендуя Анненкову роман "Бедные люди", выставляет как его главное достоинство то, что это "первая попытка у нас социального романа" (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 272)

Позднее А. И. Герцен, как бы солидаризируясь с критиком, отнес "Бедных людей" к числу произведений русской литературы 1840-х годов, проникнутых "социалистическими тенденциями и одушевлением" (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 252), а Н. А. Добролюбов - к сочинениям, написанным под влиянием "лучших сторон Гоголя и наиболее жизненных идей Белинского" (Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М.;Л., 1963. Т. 7. С. 242-255).

Черты "натуральной школы" и "гоголевского направления", действительно, очевидны в первом романе Достоевского. История полунищего петербургского чиновника - типично гоголевский сюжет. После "Шинели", "Записок сумасшедшего" и порожденной ими целой массовой литературы повествовательного и очеркового характера эту тему можно было даже назвать избитой. Обрамление основного сюжета рядом деталей, выполненных в духе своего рода документальности, перекликается с традицией физиологического очерка. Перед взором читателя раскрывается жизнь столицы в ее повседневных, самых прозаических подробностях. Образы главных героев окружены целой галереей "двойников" (Горшков, отец и сын Покровские, двоюродная сестра Вареньки и др.), взаимная спроецированность которых оттеняет, делает более масштабным описание их судеб. Разнообразие типов - от уличного нищего до "его превосходительства" - придает метко схваченным деталям социальное звучание. Именно на это (и только на это) указал Достоевскому Белинский, когда восклицал: "Да вы понимаете ль сами-то... что это вы такое написали!.. А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, - да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности его ужас! Это трагедия!" (25; 30-31).

Однако от большинства критиков ускользнул произведенный автором "Бедных людей" "коперниковский переворот", осуществленный изнутри вполне освоенной им художественной школы. Достоевский как бы взрывает ее устои, одновременно закладывая основы своей собственной системы. Оставленные без внимания художественно-психологические особенности "Бедных людей" являлись на самом деле зерном самобытности Достоевского, давшим в его зрелом творчестве грандиозные всходы.

Изображенный в повести Гоголя "Шинель" Акакий Акакиевич Башмачкин - бедный, забитый чиновник, всю жизнь переписывающий бумаги, которого распекает начальство, над которым издеваются сослуживцы, - во всех этих чертах прямой "предшественник" главного героя "Бедных людей", Макара Девушкина. Даже в их судьбах есть определенная сопоставленность: оба ценой невероятных лишений и крайней самоотверженности пытаются добиться заветной цели и, терпя полный и бесповоротный крах, впадают в смертельное отчаяние. Но если аскетизм Башмачкина опошлен недостойным объектом - вещью, то у героя Достоевского он превращается в возвышенную и трогательную привязанность к Вареньке Доброселовой, он оживает, очеловечивается (сама фамилия Башмачкин - "вещная", а Девушкин - "человечная").

Следствием такого превращения является кардинальная трансформация в архитектонике образа "маленького" человека: бессловесность, имевшая место в отношениях с вещью, сменяется самосозиданием и перерождением в слове; переписчик становится писателем. Отвечая своим критикам, видевшим в "Бедных людях" многословие, говорливость, происходившие будто бы от неопытности автора, Достоевский отмечал в письме брату от 1 февраля 1846 года: "Не понимают, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может" (28, кн. 1; 117-118). Достоевский выбрал для своего произведения жанр эпистолярного романа. Тем самым героям "Бедных людей", Макару Девушкину и Вареньке Доброселовой, предоставлялась - через их переписку - свобода выявления и предельно полного выражения их внутреннего мира. Иными словами, предметом изображения у Достоевского становится самосознание героев, история их душевной жизни.

Именно как особое душевное состояние анализируется в романе феномен бедности, давший произведению его название. Физические страдания, описываемые Девушкиным, жизнь в чадной кухне, впроголодь, хождение на службу в обветшавшем мундире и дырявых сапогах - все это ничто по сравнению с теми душевными муками и терзаниями, униженностью, беззащитностью, запуганностью, на которые обрекает бедность, превращая самого героя в "ветошку". Макар Девушкин признается Вареньке: "...знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для вида, для тона..."; "а главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мне все равно, хотя бы и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу, мне ничего, человек-то я простой, маленький, - но что люди скажут? Враги-то мои, злые-то языки эти все что заговорят, когда без шинели пойдешь? Ведь для людей и в шинели ходишь, да и сапоги, пожалуй, для них же носишь" (1; 17, 76). Для Макара Алексеевича, который ест, пьет и одевается для "другого" (а "другой" для него - "чужой"), забота о материальном благе становится заботой именно о душе.

Самое первое письмо героя, пронизанное мотивами райского блаженства, вводит смысловой пласт первостепенной значимости для всего произведения: "Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и треволнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц... то есть я все такие сравнения отдаленные делал. У меня там книжка есть одна, Варенька, так в ней то же самое, все такое же весьма подробно описано" (1; 13-14). "Отдаленные сравнения" Макара Девушкина имеют смысловую опору, безусловно, в Нагорной проповеди Христа: "Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело - одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?" (Мф. 6, 25-26). Забота Девушкина о еде, питье и одежде как забота о душе делает невозможным для него исполнение заповеди Нагорной проповеди. (См. подробнее об этом в кн.: Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского "Бедные люди". Л., 1988. С. 62-72, 91).

Примечательно и другое "отдаленное" сравнение героя - болезненного ощущения чужого взгляда ("что люди скажут?", "для людей и в шинели ходишь") с девичьим стыдом: "...бедный-то человек и на свет-то Божий иначе смотрит, и на каждого прохожего косо глядит, да вокруг себя смущенным взором поводит, да прислушивается к каждому слову, - дескать, не про него ли там что говорят... Да, уж если вы мне простите, Варенька, грубое слово, так я вам скажу, что у бедного человека на этот счет тот же самый стыд, как и у вас, примером сказать, девический. Ведь вы перед всеми - грубое словцо-то мое простите - разоблачаться не станете, вот так точно и бедный человек..." (1; 69). Стыд как преобладающее свойство мироощущения Девушкина (в данном отношении звучание фамилии героя весьма красноречиво) проявляет утвердившееся в нем сознание собственной наготы (имеется в виду, естественно, душевное состояние), открытой взгляду другого - чужого - врага. Ощущение подкрепляется и его восприятием холодного, грязного, неуютного - "студного" петербургского мира.

Истоки преследующей героя Достоевского стыдности восходят к событию библейской истории, когда у первых людей после грехопадения "открылись глаза" и они увидели свою наготу. Как результат стремления скрыть ее возникает одежда - "ризы кожаны". "Ризы кожаны" и есть главная забота, владеющая душой Макара Девушкина, забывшей райское блаженство, которым дышит его первое письмо. По его мнению, эта забота свойственна человеку вообще, независимо от его социально-имущественного статуса. "Все мы... выходим немного сапожники", - пишет Макар Алексеевич Вареньке, обобщая свой жизненный опыт. Конечно, одежда означает здесь не шинели и сапоги как таковые, а метафизическую "одежду" души, "облачающий" душу подвиг жизненного делания. "Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими, - указывает апостол Павел на нужду души в "одежде". - Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог... ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал..." (2 Кор. 5, 2-10) (См. анализ данного смыслового пласта романа в ст.: Бочаров С. Холод, стыд и свобода. История литературы sub speice Священной истории// Вопросы литературы, 1995. Вып. V).

Речь идет об одном из важнейших образов Евангелия, содержанием которого проникнута вся хронологическая богослужебная и аскетическая практика. В евангельской притче, уподобляющей Царство Небесное брачному пиру, данный образ предстает как "брачная одежда". "...Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных" (Мф. 22, 2-14). Смысл, заложенный в образе "брачной одежды", раскрывается в апостольских словах: "все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. 3, 27). "Я сораспялся Христу, - говорит апостол Павел, - и уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2, 19-20).

Герой "Бедных людей", чувствуя в себе эту духовную нужду, старается создать себе "ризы кожаны", и прежде всего он "облачается" в слово, "формируя слог". Особенности "слога" Макара Девушкина отчетливо проступают с первого же его письма. Рассказывая Вареньке о своей новой квартире, он пишет: "Я живу в кухне или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скромный... то есть, или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный... Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кухня! - то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку живу, втихомолочку живу" (1; 14).

Назвав прямо предмет описания, Девушкин как будто испугался его откровенной неприглядности, отпрянул и, словно кружась вокруг него, медленно подступает опять, подыскивая для него более завуалированную словесную оболочку. Таким путем герой пытается преобразить свое бытие - прежде всего, естественно, в глазах другого. Подобные попытки сопряжены у Макара Алексеевича с намерением "пуститься в свет", сопровождающимся "литературными увлечениями". Эти увлечения выявляют всю важность для Девушкина жизни в слове, когда Достоевский заставляет его поочередно прочитать "Станционного смотрителя" Пушкина и "Шинель" Гоголя. "Маленький" человек, таким образом, из героя знаменитых произведений превращается в их читателя и судью.

Эпиграф к "Бедным людям", взятый из рассказа В. Ф. Одоевского "Живой мертвец", содержит лукаво-ироничное сетование на "сказочников", которые своими писаниями "всю подноготную в земле вырывают". Девушкин обнаруживает эту "подноготную" и в "Станционном смотрителе", и в "Шинели". Но если первое произведение вызывает в нем восторженное умиление, то второе - ожесточает, приводит в негодование и подталкивает к "бунту" и "дебошу". "В жизнь мою не случалось мне читать таких славных книжек, - пишет герой по поводу пушкинской повести. - Читаешь, - словно сам написал, точно это, примерно говоря, мое собственное сердце, какое оно уже там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно - вот как!.. Нет, это натурально!.. Это живет" (1; 59). Гоголевскую же "книжку" он называет "злонамеренной", жалуясь на оскорбивший его "пасквиль" именно за то, что в его "конуру" "пробрались" и "подсмотрели": "Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать - куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, все напечатано, прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что нашего брата по одной походке узнаешь теперь" (1; 64). Девушкин, переходя из пушкинского мира в гоголевский, ощутил себя, подобно Адаму и Еве, вкусившим запретный плод, "скрывающимся и прячущимся" (Бочаров С. Г. Холод, стыд и свобода (История литературы sub speice Священной истории) // Вопросы литературы, 1995. Вып. V. С. 141).

Оскорбленный герой выносит приговор "злонамеренной книжке": "...это просто неправдободобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Да ведь после такого надо жаловаться, Варенька, формально жаловаться" (1; 65). В пушкинском мире нагота сердца, "вывороченного изнанкой", не стыдна, но, напротив, вызывает умиление, поскольку покрыта милующим сочувствием, создающим впечатление, "словно сам написал". В гоголевской "Шинели" - холодно-студный взгляд "чужого", подсматривающий взгляд - и в этом неправда (позднее Достоевский скажет: "В одном только реализме нет правды", имея в виду "фотографический" реализм - 24; 248).

Искусно создав в своем произведении взаимную спроецированность трех "родственных" сюжетов, Достоевский раздвинул рамки гоголевской темы о бедном чиновнике, соединив ее с темой "отцовского попечения". Причем последняя встроена им в тот же смысловой ряд, в каком разворачивался мотив "жизни в слове" Макара Девушкина.

Подобно тому, как герой "Станционного смотрителя", горячо любящий свою дочь, пытается спасти ее от похитившего ее соблазнителя, герой "Бедных людей", страстно привязанный к сиротке Вареньке, всяческими "благодеяниями" стремится оградить ее от оскорбителей - офицера, помещика Быкова, Анны Федоровны. Причем роману Достоевского передалась и сориентированность пушкинской фабулы на евангельскую притчу о блудном сыне (Лк. 15, 11-32). В сознании Девушкина впечатление от прочитанного им "Станционного смотрителя" сливается с реакцией на намерение Вареньки идти к "чужим людям" (т. е. "на страну далече"): "...Дело-то оно общее, маточка, и над вами и надо мной может случиться... вот оно что, маточка, а вы еще тут от нас отходить хотите, да ведь грех, Варенька, может застигнуть меня. И себя и меня сгубить можете, родная моя" (1; 59).

"Благодеяния", которыми Девушкин осыпает Вареньку (от "фунтика конфет" и "бальзаминчика" до театра), объясняются внутренней установкой, проявляющейся в его словах: "...я занимаю у вас место отца родного" (1; 19). Эти слова приоткрывают подспудные мотивы его поступков во взаимоотношениях с "родственницей"-сироткой, неразрывно связанных с "литературными" и "светскими" устремлениями героя, с "чаем" и "сапогами" "для людей". Уже в первом своем романе Достоевский наметил глубоко разработанную им в позднем творчестве ситуацию человека, желающего стать в глазах другого на место Бога. (См. об этом: Ветловская В. Е. Роман Ф. М. Достоевского "Бедные люди". Л., 1988. С. 154). Сокрытие от болезненно ощущаемого чужого взгляда собственной "наготы" становится предпосылкой усвоения себе Девушкиным по отношению к Вареньке "отцовских" функций, а через них - и "божеских". (Та же подоплека видна в поведении Девушкина с Горшковым.)

От "облагодетельствованной" Вареньки требуется оставить "блажь" и своим послушанием "осчастливить старика". Героиня как бы соизволяет этой внутренней установке "благодетеля": "Я умею оценить в моем сердце все, что вы для меня сделали, защитив меня от злых людей, от их гонения и ненависти" (1; 21). Она "покрывает" его крайнюю нужду в объекте "благодеяний", обнаруживающуюся со всей остротой в момент разлуки, когда Девушкину приходится придумывать наивные и беспомощные предлоги, чтобы удержать ее. Вообще все "благодеяния" Девушкина осуществляются за счет взятого вперед жалованья, увеличения долгов, т. е. того самого "проматывания", о котором говорится в евангельской притче. Парадоксальным образом герой, желая утвердиться в "отцовских" функциях, оказывается на месте блудного сына. Даже разглашение тайны его переписки с Варенькой несет в себе отзвук евангельского "живя распутно" (обозначенный уже в "Бедных людях" мотив любви старика к молодой девушке устойчив на протяжении всего творчества Достоевского вплоть до последнего его романа).

"Благодеяния" Девушкина заканчиваются "бунтом" и "дебошем". Он - первый "бунтовщик" Достоевского; его глухое и испуганное вольнодумство (отчего такая несправедливость: одни - богаты и счастливы, другие - бедны и несчастны) будет впоследствии громко подхвачено Раскольниковым и Иваном Карамазовым. После "дебоша" уже Варенька посылает Макару Алексеевичу "полтинничек". Героиня добровольно несет на себе "бремена" своего "благодетеля" (ср. у апостола Павла: "Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов" - Гал. 6, 2). Тихая кротость в сочетании с внутренней силой и решительностью - непременные черты ее портрета, свойственные целому ряду женских образов Достоевского. Особенно подробно они раскрываются в "Маленьком герое" в описании облика m-me M\*: "Возле нее всякому становилось как-то лучше, как-то свободнее, как-то теплее... Есть женщины, которые точно сестры милосердия в жизни. Перед ними можно ничего не скрывать, по крайней мере ничего, что есть больного и уязвленного в душе. Кто страждет, тот смело и с надеждой иди к ним и не бойся быть им в тягость, затем что редкий из нас знает, насколько может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском серд-це. Целые сокровища симпатии, утешения, надежды хранятся в этих чистых сердцах, так часто тоже уязвленных, потому что сердце, которое много любит, много грустит... Их же не испугает ни глубина раны, ни гной ее, ни смрад ее: кто к ним подходит, тот уже их достоин; да они, впрочем, как будто и родятся на подвиг..." (2; 273).

Наделяя подобные женские образы такого рода свойствами, Достоевский сближает их с евангельской грешницей, возвеличенной Христом над фарисеем за то, что она "возлюбила много" (Лк. 7, 36-48). Одновременно эти "сестры милосердия" становятся "женами-мироносицами" в своем мужественном служении "мечтателям" и "скитальцам". Данное сочетание формирует типологические черты, которые можно назвать "магдалиническими". Их палитра в послекаторжных произведениях писателя чрезвычайно разнообразна. (Мария Магдалина вместе с другими стояла у Креста при крестных страданиях Христа, присутствовала при Его погребении и была первою, кому явился Христос по Своем воскресении.)

Герой, явственно ощущая крах своих попыток к мнимому преображению, осознает пересечение с жизнью "оскорбленной и грустной" героини как судьбоносный рубеж. "Я знаю, чем я вам, голубчик вы мой, обязан! - признается Макар Девушкин Вареньке. - Узнав вас, я стал, во-первых, и самого себя лучше знать и вас стал любить; а до вас, ангельчик мой, я был одинок и как будто спал, а не жил на свете. Они, злодеи-то мои, говорили, что даже и фигура моя неприличная. И гнушались мною, ну, и я стал гнушаться собою; говорили, что я туп, я и в самом деле думал, что я туп, а как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную. Так что и сердце и душа моя осветились, и я обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других, что только так, не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек" (1; 82).

Свет, просвещающий внутреннюю тьму, о котором говорит Девушкин, - свет подлинного преображения, перерождения "ветошки" в человека. Прогоняя прежний, мнимый свет ложного делания ("блеск", "лоск"), он проникает в самую глубину ("сердце и мысли"), и его действие - пробуждающее, оживляющее, подвигающее к любви. Пьянящему "расточению" неправедно полученного "наследства" противопоставлено трезвящее возвращение герою самого себя, венчающееся встречей с "его превосходительством", воскресившим своим поступком его дух ("...они мой дух воскресили..." - 1; 93).

Эта встреча, составляющая силовой центр сюжетной концовки, закономерно насыщена звучанием мотивов Страшного Суда, когда все тайное и незримое превращается в явное и зримое. Рассказ Девушкина Вареньке выдержан в соответствующих тонах: "...зовут меня. Требуют меня, зовут Девушкина... вот опять начали, ближе, ближе. Вот уже над самым ухом моим: дескать, Девушкина! Девушкина! Где Девушкин?.. Я помертвел, оледенел, чувств лишился, иду - ну, да уж просто ни жив ни мертв отправился. Ведут меня через одну комнату, через другую комнату, через третью комнату, в кабинет - предстал!" (1; 92). Уподобление внутренних переживаний героя умиранию и тройному прохождению через мытарства, завершающемуся предстоянием пред "нелицеприятным судилищем", развернется в последнем романе Достоевского, "Братьях Карамазовых", в монументальную картину воскресения "нового человека".

"Суд" над Макаром Девушкиным происходит чрез него самого, увидевшего себя в зеркале: "...я взглянул направо в зеркало, так просто было отчего с ума сойти от того, что я там увидел" (1; 92). Зеркало показывает ему его "наготу", которая подчеркивается оторвавшейся пуговицей ("...тут, маточка, такое случилось, что я и теперь едва перо держу от стыда"), покатившейся "к стопам его превосходительства": "вот и все было мое оправдание" (1; 92). Не оправдывающий себя "маленький" человек оправдывается самим "судией": "Тут его превосходительство обернулись к прочим, раздали приказания разные и все разошлись. Только что разошлись они, его превосходительство поспешно вынимает книжник и из него сторублевую. "Вот, - говорят они, - чем могу, считайте, как хотите..." - да и всунул мне в руку... весь покраснел... взял мою руку недостойную, да и потряс ее, словно родне своей, словно такому же, как сам, генералу. "Ступайте, говорит, чем могу... Ошибок не делайте, а теперь грех пополам..." (1; 92-93). "Его превосходительство" словно вторит Христовому: "...Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?.. и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши" (Ин. 8, 10-11). В изображении "суда" генерала последовательно подчеркнуто стремление совершить прощение максимально неосуждающе, милующе, покровенно. При этом самый далекий "чужой" для "маленького" человека - "его превосходительство" - становится "родней", братом.

Так первый роман Достоевского обозначил идею, стержневую для всего творчества писателя, - идею "восстановления погибшего человека". Тайна человека, "отуманенного грешною мыслью", не может быть разгадана на уровне исключительно социального устройства. Она уходит корнями вглубь человеческой природы, закон которой нарушен грехопадением. У Достоевского "бедные люди" - не просто забитые, униженные и оскорбленные изгои, "парии общества", но прежде всего евангельские "нищие духом", "малые сии", жаждущие в социальной справедливости высшей небесной справедливости Царствия Божия.